

## Стефан Цвейг

### Мендель-букинист

Я снова жил в Вене, и однажды вечером, возвращаясь домой с окраины города, неожиданно попал под проливной дождь, своим мокрым бичом проворно загнавший людей в подъезды и под навесы; я и сам бросился отыскивать спасительный кров. К счастью, в Вене на каждом углу вас поджидает кафе, и я в промокшей шляпе и насквозь мокрым платье вбежал в одно из ближайших. Это оказалось самое обыкновенное, шаблонное кафе старовенского, патриархального типа, без оркестра и прочих заимствованных в Германии модных приманок, которыми щеголяли кафе на главных улицах; посетителей было много - мелкий люд, поглощавший больше газет, чем пирожных. Несмотря на табачный дым, который сизыми спиралями пронизывал и без того удушливый воздух, в кафе было уютно и чисто благодаря новой плюшевой обивке на сиденьях и блестящей алюминиевой кассе; второпях я даже не потрудился взглянуть на вывеску - да и к чему?

Я сел за столик и, быстро согревшись в теплой комнате, стал нетерпеливо поглядывать на окна, затянутые голубой сеткой дождя, - скоро ли заблагорассудится несносному ливню продвинуться на несколько километров дальше.

Итак, я сидел в полной праздности, и мало-помалу мной овладела та расслабляющая лень, которую, подобно наркозу, незримо источает каждое истинное венское кафе. Рассеянно разглядывал я лица посетителей, казавшиеся землистыми в искусственном свете наполненного табачным дымом помещения, наблюдал за кассиршей, словно автомат отпускаяшей кельнерам сахар и ложечку к каждой чашке кофе, бессознательно, в полудремоте, читал скучнейшие плакаты на стенах и почти наслаждался этим отупением. Но вдруг, по какой-то непонятной причине, я очнулся; какое-то внутреннее беспокойство заставило меня насторожиться, словно глухая зубная боль, когда еще не можешь определить, какой зуб ноет - вверху или внизу, слева или справа; я только ощущал смутное волнение, род душевной тревоги. Ибо - сам не зная почему - я внезапно проникся уверенностью, что не в первый раз очутился в этом кафе: я был здесь много лет назад и связан какими-то воспоминаниями с этими стенами, стульями, столами, с этим чуждым мне, прокуренным помещением.

Однако, чем больше старался я овладеть этим воспоминанием, тем коварнее оно от меня ускользало; словно морская звезда, мелькал его неверный свет в самых глубинах сознания - не выудить и не схватить. Тщетно впивался я взглядом в каждый предмет обстановки; многое, разумеется, было мне незнакомо, например, касса с дребезжащим автоматическим счетчиком, коричневая, под красное дерево, панель вдоль стен все это появилось, вероятно, позже. И все-таки, все-таки я был здесь лет двадцать назад, а то и больше; здесь незримо присутствовала, притаившись, как гвоздь, вколоченный в дерево, частица моего собственного, давно изжитого "я". Напряженно вглядывался я в то, что было вокруг меня, и в то, что было во мне, но, черт возьми, я не мог уловить этого забытого, потонувшего во мне самом воспоминания.

Я злился, как злишься каждый раз, когда какая-нибудь неудача обнаруживает несостоятельность и несовершенство наших духовных сил. Однако я не терял надежды овладеть все же в конце концов этим воспоминанием. Я знал, что достаточно ничтожной зацепки, ибо память моя обладает странным свойством, одновременно и хорошим и дурным: она упряма и своенравна и вместе с тем необычайно надежна. Она увлекает на дно важнейшие события и лица, прочитанное и пережитое и ничего не возвращает из этой темной пучины без принуждения, по одному лишь требованию воли. Но стоит мне натолкнуться на самый ничтожный намек, на открытку с видом, знакомый почерк на конверте или пожелтевшую газету, и забытое тотчас вынырнет из сумрачных глубин живо и отчетливо, словно рыба, пойманная на удочку. Я припоминаю малейшие подробности, вижу рот знакомого мне человека - с левой стороны не хватает зуба, что особенно заметно, когда он смеется, слышу его

отрывистый смех - при этом вздрагивают кончики усов и сквозь смех проступает другое, новое лицо; в ушах моих внятно звучит каждое слово, произнесенное им много лет назад. Но для того, чтобы с полной ясностью увидеть и ощутить прошлое, мне необходим внешний толчок, необходима некоторая, хотя бы ничтожная, помощь из реального мира. Я закрыл глаза, стараясь сосредоточиться и сделать осязаемой эту неуловимую зацепку, чтобы ухватиться за нее. Но тщетно! Ничего, решительно ничего не подсказывала мне память. Я так рассердился на скверный своевольный аппарат, заключенный в моей черепной коробке, что готов был колотить себя кулаками по лбу, как встряхивают испорченный автомат, когда он упрямо не выбрасывает требуемого. Нет, я не мог больше спокойно сидеть на месте; меня так возмущала эта осечка памяти, что я встал и вышел из-за столика. Но странно - но успел я сделать и двух шагов, как внезапно что-то слабо замерцало, забрезжило в моем сознании. Справа от кассы, вспомнилось мне, должен быть вход в помещение без окон, освещаемое лишь искусственным светом. И в самом деле, так и оказалось. Вот она, эта комната; правда, обои другие, но в остальном все та же - почти квадратная, с чуть скошенными углами. Радостно возбужденный (я уже чувствовал: сейчас вспомню все), я оглядел помещение: два бильярда томились без дела, словно зеленые, заросшие тиной пруды; по углам торчали ломберные столы, за одним из них два не то надворных советника, не то профессора играли в шахматы. А вон там, около железной печки, у самого прохода к телефонной будке, стоял небольшой четырехугольный стол. И тут меня осенило - точно молния, в один-единственный, блаженно-радостный миг вспыхнуло воспоминание: боже мой, да ведь это столик Менделя, Якоба Менделя, Менделя-букиниста, и я через двадцать лет снова очутился в его главной квартире, в кафе Глюк, на Альзерштрассе. Как я мог забыть его, Якоба Менделя, как мог так долго, так непростительно долго не вспоминать об этом удивительном человеке, этой живой легенде, чуде из чудес, прославленном в университете и в узком кругу почитателей, как мог я предать забвению этого мага и маклера книжного дела, который изо дня в день несокрушимо сидел здесь с утра до вечера, - символ человеческого знания, краса и гордость кафе Глюк!

Мне нужно было только на одно мгновение закрыть глаза, и передо мной возник его подлинный, живой, неповторимый образ. Я вновь увидел его за этим четырехугольным столом с серовато-грязной мраморной доской, заваленной книгами и бумагами. Увидел, как он сидит, упорно и невозмутимо устремив сквозь очки пристальный, словно замороженный взор в книгу, сидит и читает, что-то бормоча и мурлыча себе под нос по привычке, приобретенной в хедере, в еврейской начальной школе на Востоке, раскачиваясь взад и вперед, и тускло поблескивает его пятнистая лысина. Здесь, за этим столом, и только за ним, читал он каталоги и книги так, как учили его читать талмуд, нараспев и раскачиваясь, словно черная колыбель. Ибо подобно тому как дитя погружается в сон и уже не ощущает мира, убаюканное плавным, усыпляющим ритмом, так, по мнению благочестивых людей, и дух благодаря мерному движению праздного тела легче погружается в блаженную отрешенность от мира. И в самом деле, Якоб Мендель не видел и не слышал, что бы ни происходило вокруг. Рядом с ним шумели и ссорились игроки на бильярде, сновали взад и вперед маркеры, трещал телефон, мыли полы, топили печку - он ничего не замечал. Однажды из топки выпал раскаленный уголек; в двух шагах от него уже тлел и дымился паркет. Тогда кто-то из посетителей, почуяв адскую вонь, вбежал в комнату и предотвратил беду, он же, Якоб Мендель, сидя на расстоянии двух дюймов от начавшегося пожара и уже окуренный едким дымом, ничего не заметил. Ибо он читал так, как другие молятся, как играют азартные игроки, как пьяные безотчетно глядят в пространство; он читал так трогательно и самозабвенно, что с тех пор всякое иное отношение к чтению казалось мне профанацией. В лице Якоба Менделя, этого маленького галицийского букиниста, я впервые столкнулся с великой тайной безраздельной сосредоточенности, создающей художника и ученого, истинного мудреца и подлинного безумца, - с трагедией и счастьем одержимых. Привел меня к нему старший товарищ по университету. Я в ту пору интересовался еще и ныне малоизвестным последователем Парацельса, врачом и магнетизером Месмером, но без особого успеха; основные труды, посвященные его деятельности, оказались недостаточными, а

библиотекарь, к которому я по неопытности обратился, сердито пробормотал, что указывать литературу надлежит мне, а не ему. Тогда-то мой товарищ в первый раз упомянул имя букиниста. - Я сведу тебя к Менделю, пообещал он. - Этот человек все знает, и все достанет, он раздобудет тебе редчайшую книгу из любой антикварной лавчонки в Германии. Это самый толковый человек в Вене и к тому же большой оригинал, допотопный книжный червь вымирающей породы.

Мы вместе отправились в кафе Глюк, и вот - там он сидел, Мендель-букинист, в очках, с всклокоченной бородой, весь в черном, раскачиваясь, точно темный куст на ветру. Мы подошли к нему - он нас не заметил. Он сидел и читал, раскачиваясь над столом точно поклонник Будды; за его спиной болталось на крючке поношенное черное пальтишко, из всех карманов которого торчали журналы и записки. Чтобы привлечь его внимание, мой приятель громко кашлянул. Но Мендель продолжал читать, уткнувшись носом в книгу; он нас упорно не замечал. Наконец, мой товарищ постучал о мраморную доску стола, громко и сильно, как стучат обычно в дверь; тогда лишь Мендель поднял голову, машинально сдвинул на лоб громоздкие очки в стальной оправе, и из-под взъерошенных пепельно-серых бровей уставились на нас удивительные глаза - маленькие, черные, живые глазки, острые и верткие, как змеиное жало. Мой приятель представил меня, и я изложил свою просьбу, причем - к этой хитрости я прибег по настоятельному совету приятеля - прежде всего излил свой гнев на библиотекаря, не пожелавшего мне помочь. Мендель откинулся на спинку стула и не спеша сплюнул. Потом отрывисто засмеялся и заговорил с сильным восточным акцентом: - Не пожелал? Нет, не сумел! Это же паршивец, это же несчастный старый осел. Я знаю его вот уже двадцать лет. Вы думаете, он чему-нибудь научился? Жалованье класть в карман - только это они и умеют! Им бы кирпичи таскать, господам ученым, а не над книгами сидеть.

После того, как Мендель таким образом отвел душу, лед был сломан, и он приветливым жестом пригласил меня к своему испещренному заметками мраморному столу, к этому еще неведомому мне алтарю библиофильских откровений. Я коротко изложил свои пожелания: труды современников Месмера о магнетизме, а также более поздние книги и работы за и против месмеризма; когда я кончил, Мендель прищурил на мгновение левый глаз, в точности так, как стрелок перед выстрелом. Но только на одно-единственное мгновение; и тотчас же, словно читая незримый каталог, Мендель перечислил два-три десятка книг, называя издателя, год издания и приблизительную цену. Я оторопел. Хоть я и был предупрежден, ничего подобного я не ожидал. Мое изумление, видимо, обрадовало его, ибо он продолжал разыгрывать на клавиатуре своей памяти самые удивительные библиографические вариации на ту же тему. Не угодно ли мне кое-что узнать и о сомнамбулистах и первых опытах гипноза, о Гаснере, о заклинании беса, о Христианской науке и о Блаватской? Снова посыпались имена, названия, сведения; теперь только я понял, на какое небывалое чудо памяти я наткнулся в лице Якоба Менделя; это был подлинный ходячий универсальный каталог. Потрясенный, смотрел я на этот библиографический феномен, втиснутый в невзрачную, даже неопрятную оболочку галицийского букиниста. С легкостью выпалив около восьмидесяти названий, он с наигранным равнодушием, но явно довольный тем, что так хорошо удалось козырнуть, стал протирать очки носовым платком, некогда, вероятно, белым. Чтобы хоть немного оправиться от изумления, я робко спросил, какие из этих книг он берется мне достать. Посмотрим, посмотрим, - пробормотал он. - Приходите завтра, Мендель к тому времени уже кое-что достанет вам; чего нет в одном месте, найдется в другом; у кого голова на плечах, тому и счастье.

Я вежливо поблагодарил и от избытка вежливости совершил грубейшую ошибку, предложив записать названия нужных мне книг на клочке бумаги. В ту же минуту мой приятель предостерегающе толкнул меня локтем. Но, увы, слишком поздно! Мендель окинул меня взглядом - и каким взглядом! То был взгляд одновременно торжествующий и оскорбленный, насмешливый и высокомерный, по-шекспировски царственный, взгляд, которым Макбет окинул Макдуфа, когда тот предложил непобедимому герою сдаться без боя. Он снова отрывисто рассмеялся, и большой торчащий кадык задвигался - очевидно, он с трудом

проглотил крепкое словцо. Да я и заслужил любую, самую грубую брань из уст доброго, честного Менделя-букиниста; ведь только чужой человек, невежда ("амхорец", как он выражался) мог сделать оскорбительное предложение - записать названия книг, и кому? Якобу Менделю! Словно он мальчик из книжного магазина или служитель в букинистической библиотеке; как будто этот несравненный ум когда-либо нуждался в столь грубых подпорках. Лишь много позже я понял, как сильно должна была моя предупредительность уязвить его; ибо этот маленький, невзрачный, утонувший в своей бороде и вдобавок горбатый галицийский еврей Якоб Мендель был титаном памяти. За этим грязновато-бледным лбом, обросшим серым мохом, запечатлены были незримиными письменами, словно отлитые из металла, титульные листы всех когда-либо вышедших книг. Он мгновенно, не колеблясь, называл место выхода любого сочинения, появилось ли оно вчера или двести лет тому назад, его автора, первоначальную цену и букинистическую; помнил отчетливо и ясно и переплет, и иллюстрации, и факсимиле; каждую книгу, побывавшую у него в руках или только высмотренную в витрине или в библиотеке, он мысленно видел с той же фотографической точностью, с какой художник внутренним оком видит еще скрытые от мира создаваемые им образы. Если в каталоге какого-нибудь регенсбургского букиниста книга была оценена в шесть марок, он тотчас припоминал, что два года тому назад другой экземпляр этой книги на распродаже в Вене пошел за четыре кроны и кем она была куплена. Нет, Якоб Мендель не забывал ни одного названия, ни одной цифры, он знал каждое растение, каждую инфузорию, каждую звезду в изменчивом зыбком книжном космосе. По каждой специальности он знал больше, чем специалисты, знал библиотеки лучше, чем библиотекари, наличность книг большинства фирм он знал лучше, чем их владельцы, вопреки всем спискам и картотекам, опираясь единственно на свой магический дар, на свою несравненную память, всю силу которой можно показать, только приведя сотни примеров. Правда, эта память могла получить такое поистине сверхъестественное развитие только благодаря вечной тайне всякого совершенства: тайне сосредоточенности. Этот удивительный человек не знал в мире ничего, кроме книг, ибо все явления бытия обретали для него реальность лишь претворенные в буквы, собранные в книгу и как бы бесплотные. Но и книги он читал не ради их содержания, не ради заключенных в них мыслей или фактов; только название, цена, формат, титульный лист увлекали его. Всего лишь необъятным перечнем имен и названий, запечатленным не на страницах каталога, а на податливой коре человеческого мозга, - перечнем, в конечном счете бесполезным, не оживленным творческой мыслью, - вот чем была специфически-букинистическая память Якоба Менделя; но в своем неповторимом совершенстве она оказалась не менее феноменальной, чем память Наполеона на лица, Меццофанти - на языки, Ласкера - на шахматные дебюты, Бузони - на музыкальные опусы. Используемый в учебном или другом общественном учреждении, этот мозг мог бы удивить и наставить тысячи, сотни тысяч студентов и ученых; он был бы плодотворен для науки, явился бы бесценным приобретением для тех общедоступных сокровищниц, которые мы называем библиотеками. Но этот мир был навеки закрыт для необразованного галицийского маклера, который знал немногим больше того, чему научился в хедере; и эти поразительные способности могли проявляться лишь в тайных откровениях за мраморным столом кафе Глюк. Но если когда-нибудь появится великий психолог (наш духовный мир все еще ждет его трудов) и, подобно Бюффону, упорно и терпеливо классифицировавшему породы животных, опишет все разновидности, особенности, первобытные формы и отклонения от них той волшебной силы, которую именуем памятью, ему следовало бы вспомнить о Якобе Менделе, об этом гении библиографии, об этом безвестном корифее букинистической науки.

По профессии и для непосвященных Якоб Мендель был лишь мелким перекупщиком книг. Каждое воскресенье в газетах "Нойе фрайе пресс" и в "Нойер винер тагеблат" появлялись одни и те же стереотипные объявления: "Покупаю старые книги, даю хорошую цену, прихожу на дом по первому вызову, Мендель. Альзерштрассе", и затем номер телефона - телефона, разумеется, кафе Глюк. Он рылся в книжных складах, еженедельно при помощи старика посыльного с

бородой, как у австрийского императора, перетаскивал добычу в свою главную квартиру и опять уносил оттуда, ибо надлежащего разрешения на книжную торговлю у него не было. Приходилось довольствоваться мелким, грошовым промыслом. Студенты сбывали ему свои учебники, через его руки они совершали путь от старшего курса к младшему; кроме того, он отыскивал книги по заказам и продавал их с незначительной надбавкой: советы свои он ценил дешево. Деньги не играли роли в его мире; всегда его видели в одном и том же потертом сюртуке; утром, днем и вечером он выпивал стакан молока с двумя булочками, скудный обед ему приносили из ближайшего ресторана. Он не курил, не играл, можно сказать, даже не жил жили лишь глаза за толстыми стеклами очков, без устали питавшие этот своеобразный мозг словами, заглавиями, именами. И мягкая, податливая ткань этого мозга жадно впитывала поток сведений, как впитывает луг тысячи и тысячи капель дождя. Люди его не интересовали, и из всех человеческих страстей он, быть может, знал только одну - правда, самую человеческую тщеславие. Если к нему приходил за справкой человек, уставший от бесплодных поисков в сотне разных мест, и Мендель мог сразу же ответить на вопрос, это одно давало ему удовлетворение и радость, да еще, быть может, сознание, что в Вене и за ее пределами живут несколько десятков человек, которые уважают его знания и нуждаются в них, В каждом из многолюдных хаотических нагромождений, которые мы именуем столицами, кое-где вкраплены мельчайшие грани, которые отражают один и тот же мир на крошечной плоскости; они скрыты для большинства и дороги только знатоку, только собрату по страсти. И все без исключения любители книг знали Якоба Менделя. Так же как за советом относительно какого-нибудь музыкального произведения отправлялись к Еузебиусу Мандишевскому, в Общество друзей музыки, где он сидел в серой ермолке, с приветливой улыбкой на устах, среди папок и нот и с первого же взгляда легко разрешал труднейшие загадки, так же как и по сей день каждый, кто хочет получить сведения о театральной жизни старой Вены, о ее культуре, неизбежно обратится к всеведущему старику Глосси, так а немногие правоверные венские библиофилы, когда им попадался особенно твердый орешек, не задумываясь, совершали паломничество в кафе Глюк, к Якобу Менделю. Наблюдать за Менделем во время такой консультации доставляло мне, молодому, любопытному человеку, величайшее наслаждение. Обычно, когда ему приносили заурядную книгу, он презрительно захлопывал ее "и цедил сквозь зубы: "Две кроны"; но, увидев редкий экземпляр или уникум, он почтительно отодвигался, подкладывая лист бумаги, и видно было, что он стыдится своих грязных, измазанных чернилами пальцев с черными ногтями. Потом с нежностью, благоговейно перелистывал страницы одну за другой. Никто не мог помешать ему в эти минуты, как нельзя помешать молитве истинно верующего, и в самом деле, это разглядывание, перелистывание, обнюхивание - в отдельности и в совокупности напоминали строгий ритуал религиозного обряда. Горбатая спина двигалась из стороны в сторону, он ворчал, кричал, почесывал голову, произносил непонятные звуки, протяжные "а..." или "о", выражавшие трепет восторга, за которыми следовали испуганные "ой" или "ойвей", если он наталкивался на вырванную или источенную жучком страницу. В заключение он почтительно взвешивал в руке древнюю, переплетенную в кожу книгу и, полузакрыв глаза, вдыхал запах увесистого квадратного тома, словно чувствительная барышня - аромат туберозы. На время этой довольно длительной процедуры владелец книги должен был, конечно, вооружиться терпением. Но, закончив осмотр, Мендель охотно, можно сказать, вдохновенно давал всевозможные справки, к которым неминуемо присоединялись пространные рассказы о забавных, а то и драматических случаях купли-продажи аналогичных экземпляров. В такие мгновения он становился как будто бодрее, моложе, живее, и только одно могло его страшно разгневать - предложение денег за оценку, на что иногда решался какой-нибудь новичок. Тогда он обиженно отстранялся, подобно директору картинной галереи, которому путешественник-американец хочет сунуть чаевые за объяснения; ибо подержать в руках драгоценную книгу значило для Менделя то же, что для другого - свидание с женщиной. Эти мгновения были для него платоническими ночами любви. Только книга имела власть над ним, а не деньги. Поэтому крупные коллекционеры, между ними и

основатель Принстонского университета, тщетно пытались привлечь его в свои библиотеки в качестве советчика и скупщика - Якоб Мендель отказывался; его нельзя было представить себе иначе, как только в кафе Глюк. Тридцать три года тому назад, с еще мягкой черной бородкой и кудрявыми пейсами, он, невзрачный еврейский паренек, прибыл с Востока в Вену, чтобы подготовиться к сану раввина, но вскоре покинул единого сурового бога Иегову и отдался сверкающему и тысячеликому многобожию книг. В те времена он впервые набрел на кафе Глюк, и постепенно оно стало его мастерской, его главной квартирой, его почтовым отделением, его миром. Как астроном, который еженощно в своей обсерватории одиноко наблюдает сквозь крохотное круглое отверстие телескопа мириады звезд, угасающих и разгорающихся, их таинственное движение, их перекрещивающиеся пути, так Якоб Мендель сквозь свои очки, сидя за четырехугольным столом в кафе Глюк, глядел в другой мир - в мир книг, тоже вечно движущийся и перевоплощающийся, в этот мир над нашим миром.

Его, конечно, очень высоко ценили в кафе Глюк, слава которого для нас больше связывалась с этой безвестной кафедрой, чем с именем патрона кафе, великого музыканта, творца "Альцесты" и "Ифигении" - Кристофа Виллибальда Глюка. Мендель был там такой же неременной частью обстановки, как старая касса из вишневого дерева, два латаных и перелатанных бильярда и медный кофейник; его стол охранялся как святыня, ибо персонал кафе всегда радушно приглашал его многочисленных клиентов заказать что-нибудь, и таким образом, львиная доля прибыли от его знаний попадала в широкую кожаную сумку, болтавшуюся на бедре обер-кельнера Дейблера. За это Мендель-букинист пользовался различными привилегиями: он свободно распоряжался телефоном, здесь сохраняли его корреспонденцию, выполняли его поручения; старая сердобольная уборщица чистила ему пальто, пришивала пуговицы и относила еженедельно маленький сверток белья в прачечную. Ему одному разрешалось брать обеды в соседнем ресторане, и каждое утро господин Штандгартнер, владелец кафе, подходил к столу Менделя и самолично приветствовал его (правда, большей частью Якоб Мендель, углубленный в свои книги, не замечал этого). Ровно в половине восьмого утра он входил в кафе, и только когда тушили свет, оставлял помещение. Он никогда не разговаривал с посетителями, не читал газет, не замечал никаких перемен, и когда господин Штандгартнер однажды вежливо спросил, не лучше ли читать при электрическом свете, чем раньше, при мигающих газовых горелках, он удивленно посмотрел на грушевидные лампочки: он решительно ничего не заметил, хотя шум, стукотня и беспорядок, вызванные проводкой, длились немало дней. Только сквозь круглые отверстия очков, сквозь эти два блестящих, всасывающих стекла, проникали в его мозг миллиарды черных инфузорий-букв; все остальное проносилось мимо потоком бессмысленных звуков. Больше тридцати лет - другими словами, всю свою сознательную жизнь - он провел за этим четырехугольным столом, читая, сравнивая, вычисляя, и только ночь прерывала на несколько часов этот нескончаемый сон наяву.

Поэтому меня неприятно поразило, когда я увидел этот мраморный стол - бывшее прибежище оракула - опустелым, как могильная плита. Только теперь, в более зрелые годы, я понял, как много исчезает с уходом каждого такого человека, - прежде всего потому, что все неповторимое день ото дня становится все драгоценнее в нашем обреченном на однообразие мире. К тому же я очень полюбил Якоба Менделя - хотя, по молодости лет и недостатку опыта, и безотчетно. В его лице я впервые приблизился к великой тайне - что все исключительное и мощное в нашем бытии создается лишь внутренней сосредоточенностью, лишь благородной мономанией, священной одержимостью безумцев. Он показал мне, что непорочная жизнь в духе, самозабвенное служение одной идее, столь же страстное, как у индийских йогов или средневековых монахов, возможно и в наши дни и притом в освещенном электричеством кафе, рядом с телефонной будкой; в безвестном, ничтожном букинисте я нашел пример такого служения гораздо более яркий, чем у наших современных поэтов. И все же я умудрился забыть его; правда, то были годы войны, а я, подобно ему, с головой ушел в свою работу. Но сейчас, увидев опустевший стол, я почувствовал стыд и вместе с тем любопытство.

Куда он исчез, что с ним случилось? Я позвал кельнера и спросил у него. Нет, к сожалению, он такого не знает. Среди завсегдатаев кафе никакого господина Менделя нет. Но, может быть, обер-кельнер знает. Обер-кельнер лениво подошел, выставив вперед солидное брюшко, с минуту подумал - нет, он тоже не припоминает господина Менделя. Но, может быть, я имею в виду господина Манделя, владельца галантерейного магазина на улице Флорианц? Я ощутил горький привкус на губах, привкус тлена: для чего мы живем, если ветер, чуть ступила наша нога, тут же замечает ее след? Тридцать, быть может, даже сорок лет здесь, на пространстве в несколько квадратных метров, говорил, дышал, работал, думал человек; прошло всего три-четыре года, воцарился новый фараон, и уже никто не помнит о Иосифе, никто в кафе Глюк не помнит о Якобе Менделе, Менделе-букинисте. Почти с гневом спросил я обер-кельнера, не могу ли я видеть господина Штандгартнера и не остался ли кто-нибудь из старого персонала. Штандгартнер? Бог ты мой, он давным-давно продал кафе и уже умер, а старый обер-кельнер живет в своем имении под Кремсом. Нет, никого не осталось... впрочем... постойте! Ну, конечно, фрау Споршиль, уборщица, еще здесь. Но вряд ли она помнит отдельных посетителей. Однако я решил, что человека, подобного Якобу Менделю, не так-то легко забыть, и попросил вызвать эту женщину.

Она пришла, фрау Споршиль, из своего укромного уголка, седая, растрепанная, тяжело ступая отеками ногами; на ходу она поспешно вытирала платком краевые руки: должно быть, она только что подметала пол или протирала окна. Я сразу заметил, что этот неожиданный вызов был ей неприятен. В нарядном зале, под ярким электрическим светом она чувствовала себя неловко; к тому же простые люди в Вене всегда опасаются подосланных полицией сыщиков, когда к ним обращаются с расспросами. Сперва она бросила на меня взгляд исподлобья, недоверчиво и настороженно. Зачем ее позвали? К добру ли это? Но как только я спросил о Якобе Менделе, она встрепенулась и посмотрела на меня открыто, с радостным изумлением. - Боже мой, бедный господин Мендель, неужели еще кто-нибудь помнит о нем? Ах, бедный господин Мендель! - Она была растрогана до слез, как все старые люди, когда им напоминают об их юности, о давних забытых друзьях. Я спросил ее, жив ли он. - Ах, боже мой, вот уже пять или шесть лет, нет, пожалуй все семь прошло с тех пор, как умер бедный господин Мендель. Такой славный, хороший человек, и как подумаю, сколько лет я его знала, - больше двадцати пяти, ведь он уже был тут, когда я поступила. А что ему дали так умереть - это просто стыд и срам. - Она совсем разволновалась и спросила меня, не прихожусь ли я ему родственником. Ведь никто никогда не заботился о нем, никто о нем не справлялся - и неужели я не знаю, что с ним приключилось?

Нет, мне ничего не известно, заверил я, и прошу рассказать мне, рассказать все подробно. Но старушка робко и смущенно поглядывала на меня и все вытирала свои мокрые руки. Я понял: ей, уборщице, неловко было стоять посреди кафе с растрепанными седыми волосами, в грязном переднике; к тому же она боязливо озиралась по сторонам, не подслушивает ли кто из кельнеров. Поэтому я предложил ей пройти в бильярдную, на старое место Менделя, и там рассказать мне все, что она знала о нем. Она дружелюбно кивнула, словно благодаря меня за то, что я понял ее, и пошла вперед неуверенным, старушечьим шагом, я - за ней. Оба кельнера изумленно посмотрели нам вслед, они угадывали какое-то сообщество между нами; да и кое-кто из посетителей не без удивления проводил глазами столь неподходящую пару.

И там, за его столом (некоторые подробности я узнал впоследствии из другого источника), она рассказала мне о Якобе Менделе, о гибели Менделя-букиниста.

Так вот. Мендель, когда началась война, по-прежнему приходил каждый день в половине восьмого и сидел здесь, как всегда. И все так же с утра до вечера занимался; все в кафе считали и даже часто между собой говорили, что ему и невдомек, что идет война. Конечно, он ведь никогда не заглядывал в газеты, ни с кем не разговаривал, а когда газетчики подымали крик и все хватили экстренные выпуски, он никогда не вставал с места и не обращал на них внимания. Он и не заметил, что нет кельнера Франца (его убили под Горлицей) и что сын господина Штандгартнера попал в плен в Перемышле; он никогда не жаловался на то, что хлеб становится

все хуже и что вместо молока он получает бурду из поддельного кофе. Только раз как-то он сказал, что удивительно мало приходит студентов, - и все. Бог ты мой, бедняга ни о чем никогда не думал, одна радость у него была - книги.

Но вот пришел день, когда случилось несчастье. В одиннадцать часов утра явился жандарм, а с ним агент тайной полиции; он показал значок под отворотом пиджака и спросил, бывает ли здесь Якоб Мендель. И они сразу подошли к столу Менделя, а тот, в простоте своей, сначала подумал, что они хотят продать ему книги или о чем-то справиться. Но они сразу сказали, чтобы он шел за ними, и увели его. Для кафе это был просто скандал - все посетители окружили бедного господина Менделя, а он стоял между теми двумя, сдвинув очки на лоб, и смотрел то на одного, то на другого и не понимал, чего они, собственно, от него хотят. Она же сразу сказала жандарму, что это ошибка, такой человек, как господин Мендель, и мухи не обидит, но агент полиции накричал на нее, чтобы она не смела вмешиваться в его служебные обязанности. Потом его увели, и он долго не приходил, целых два года. Еще и по сегодняшний день она точно не знает, чего они от него хотели.

- Но я присягнуть готова, - взволнованно сказала старушка, - господин Мендель не мог сделать ничего дурного. Они ошиблись, головой ручаюсь. Так поступить с бедным, ни в чем не повинным человеком - это просто преступление!

И она была права, добрая, отзывчивая фрау Споршиль. Наш друг Якоб Мендель ничего дурного не совершил (я позже узнал все подробности), он только совершил умопомрачительную, трогательную, даже в то безумное время баснословную глупость, понятную только тому, кто знал этого удивительного человека. Случилось следующее: военная цензура, обязанная проверять переписку, направляемую за границу, обнаружила открытку, написанную и подписанную неким Якобом Менделем; все правила были соблюдены, и марка - надлежащей стоимости; но - случай совершенно невероятный - она была адресована во вражескую страну; она была адресована Жану Лабурдену, владельцу книжного магазина на набережной Гренель в Париже; некий Якоб Мендель жаловался, что не получил последних восьми номеров ежемесячника "Bulletin bibliographique de la France" ["Библиографический бюллетень Франции" (франц.)], несмотря на то, что за него уплачено за год вперед. Чиновник военного ведомства, бывший преподаватель гимназии, по внутренней склонности беллетрист, на которого напялили синий мундир ополченца, пришел в изумление, когда в его руки попал этот документ. Глупая шутка, подумал он. Среди двух тысяч писем, которые он еженедельно перлюстрировал, прочитывал, выискивая в них подозрительные обороты и шпионские сведения, он еще ни разу не наталкивался на такую нелепость: чтобы человек преспокойно написал письмо из Австрии во Францию и просто-напросто опустил в почтовый ящик открытку, адресованную во вражескую страну, точно с 1914 года границы не обнесены колючей проволокой и Франция, Германия, Австрия и Россия каждый божий день не сокращают численность своего мужского населения на несколько тысяч человек. Поэтому он сперва положил открытку как курьез в ящик стола, не считая нужным докладывать о такой чепухе. Но несколько недель спустя пришла еще одна открытка, адресованная в книжный магазин Джона Олдриджа, Лондон, Холборн-сквер, с запросом, нельзя ли получить последние номера "Antiquarian" ["Антиквар" (англ.)], и опять на ней стояла подпись того же чудака, Якоба Менделя, который с трогательным простодушием сообщал свой полный адрес. Тут уж преподаватель гимназии вспомнил, что на нем военный мундир. Быть может, за этой дурацкой шуткой кроется какой-нибудь зашифрованный смысл? Чиновник встал, вытянулся в струнку и положил обе открытки на стол майору. Тот пожал плечами: странный случай! Прежде всего он дал знать в полицию и велел удостовериться, существует ли в действительности такой Якоб Мендель, и через час Якоб Мендель был арестован и, еще не опомнившийся от неожиданности, приведен к майору. Майор предъявил ему таинственные открытки и спросил, признает ли он, что является их отправителем. Рассерженный строгим тоном допроса и особенно тем, что его оторвали от чтения нужного каталога, Мендель почти грубо заявил, что, конечно, эти открытки он написал. Надо полагать, что человек имеет право требовать номера журнала, за которые уплачены деньги. Майор



повернулся к лейтенанту, сидевшему за соседним столом. Они переглянулись - оба подумали одно и то же: набитый дурак! Потом майор стал раздумывать - прогнать ли простофилю, предварительно выругав, или отнестись к делу серьезно. При наличии таких колебаний любое ведомство прежде всего прибегает к протоколу. Протокол - это всегда хорошо. Если он и не принесет пользы, то и повредить не может, и к миллионам бессмысленно исписанных листов бумаги прибавится еще один.

В этом случае, однако, он повредил ничего не подозревавшему бедняге, ибо уже при третьем вопросе обнаружилось роковое обстоятельство. Прежде всего спросили его имя: Якоб, правильное Янкель, Мендель. Профессия: торговец вразнос (так было сказано в его документе, разрешения на торговлю книгами он не имел). Третий вопрос повлек за собой катастрофу: место рождения. Якоб Мендель назвал местечко около Петрикова. Майор поднял брови. Петриков? Разве это не в русской Польше, близ границы? Подозрительно! Очень подозрительно! И уже более строгим тоном майор спросил, когда Мендель принял австрийское подданство. Очки Менделя с недоумением уставились на майора: он не понимал, чего от него хотят. Где, черт возьми, его бумаги, документы? У него нет никаких документов, кроме удостоверения, что он торговец вразнос. Брови майора поднялись еще выше. Пусть он, наконец, объяснит толком, какого он подданства! Отец его - австриец или русский? Мендель, не сморгнув, ответил: конечно, русский. А он? О, он уже тридцать три года тому назад перебрался через границу, чтобы не отбывать воинскую повинность, и с тех пор живет в Вене. Майор еще больше насторожился. А когда он стал австрийским подданным? Зачем? - спросил Мендель. Он никогда не интересовался такими вещами. Значит, он и сейчас еще русский подданный? И Мендель, которому эти пустые расспросы уже давно надоели, равнодушно ответил: - Собственно говоря, да.

Майор с испугу так резко откинулся на спинку кресла, что оно затрещало. И это возможно? В Вене, в столице Австрии, в разгар войны, в конце 1915 года, после Тарнова и большого наступления, как ни в чем не бывало разгуливает русский, пишет письма во Францию и Англию, а полиции и дела нет. И после этого газеты выражают удивление, что Конрад фон Гетцендорф не добрался сразу до Варшавы, а в генеральном штабе изумляются, что каждое передвижение войск становится известно в России. Лейтенант тоже встал и подошел к столу; разговор быстро превратился в допрос. Почему он сразу не заявил о себе как об иностранце? Мендель, все еще ничего не подозревая, ответил нараспев с еврейским акцентом: "И зачем мне было вдруг заявлять о себе?" В этом ответе вопросом на вопрос майор усмотрел вызов и угрожающе спросил, читал ли он предписание об этом. Нет! Может быть, он и газет не читает? Нет!

Оба чиновника уставились на слегка встревоженного Якоба Менделя, словно луна свалилась с неба прямо в их канцелярию. И вот затрещал телефон, застучали пишущие машинки, забегали ординарцы, и Якоб Мендель был передан в гарнизонную тюрьму, с тем чтобы со следующей партией отправиться в концентрационный лагерь. Когда ему приказали следовать за двумя солдатами, он растерянно оглянулся. Он не понимал, чего от него требуют, но особенно не беспокоился. Что дурного мог замыслить против него этот человек в шитом золотом воротнике, с грубым голосом? В его высшем мире, мире книг, не было войны, не было недоразумений, лишь вечное познание и стремление ко все большему и большему познанию чисел и слов, имен и заглавий. И он безропотно поплелся между двумя солдатами вниз по лестнице. Только когда в полицейском участке вытащили все книги из карманов его пальто и потребовали бумажник, набитый сотней нужных записок и адресами клиентов, он начал яростно обороняться. Пришлось его усмирить. Но увы! При этом упали на пол очки, и магический телескоп, открывавший ему духовный мир, разбился вдребезги. Два дня спустя его отправили в легком летнем пальтишке в концентрационный лагерь для русских гражданских лиц близ Коморна. Какие нравственные мытарства претерпел за эти два года, проведенные в концентрационном лагере, Якоб Мендель, лишенный своих возлюбленных книг, среди равнодушной, грубой, большей частью неграмотной толпы, в этом огромном человеческом загоне, какие страдания он

вынес, вырванный из высшего и единственного для него мира книг, как орел с подрезанными крыльями из своей стихии, - об этом нет никаких свидетельств.

Но мир, отрезвившись от безумия, постепенно начинает понимать, что из всех жестокостей и преступлений этой войны самым бессмысленным, ненужным и потому морально ничем не оправданным было содержание за колючей проволокой ни в чем не повинных людей, давно вышедших из призывного возраста, живших много лет в чужой стране и слепо веривших в священный закон гостеприимства, соблюдаемый даже тунгусами и арауканами, и потому своевременно не бежавших; это преступление против цивилизации с равной бессмысленностью совершалось во Франции, Германии и Англии - на каждом клочке земли потерявшей рассудок Европы. И может быть, Якоб Мендель в числе многих сотен невинных жертв сошел бы с ума, погиб от дизентерии, упадка сил или душевных потрясений, если бы в последнюю минуту чистая случайность, весьма характерная для Австрии, не вернула Менделя в его мир. Дело в том, что после его исчезновения приходили адресованные ему письма от знатных клиентов: граф Шенберг, бывший наместник Штейермарка, страстный коллекционер геральдической литературы, бывший декан богословского факультета Зигенфельд, трудившийся над комментариями к Августину, восьмидесятилетний адмирал в отставке Эдлер фон Пизек, все еще дорабатывающий свои мемуары, - все они, его верные клиенты, писали к нему в кафе Глюк; некоторые из этих писем были пересланы исчезнувшему букинисту в концентрационный лагерь. Там они попали в руки полковника, случайно пребывавшего в хорошем настроении; он удивился знакомству столь знатных людей с этим маленьким полуслепым, грязным евреем, который, с тех пор как лишился очков (у него не было денег на покупку новых), словно крот, молча сидел в своем углу. Тот, у кого такие связи, вероятно, не совсем обыкновенный человек! Полковник разрешил Менделю ответить на письма и обратиться к своим покровителям за помощью. Они не замедлили оказать ее. С обычной для коллекционеров горячей солидарностью их превосходительства и декан использовали свои связи и совместной поручкой добились того, что Мендель-букинист в 1917 году, после двухлетнего с лишним заключения, вернулся в Вену, правда, под условием ежедневной явки в полицию. Но все же он был на свободе, в своей прежней тесной, ветхой мансарде, мог любоваться выставленными в витринах книгами и, главное, мог вернуться в кафе Глюк.

О возвращении Менделя из преисподней в кафе фрау Споршиль рассказала мне по собственным воспоминаниям.

- В один прекрасный день - Иисус Мария, я глазам своим не поверила - отворяется дверь, только на щелочку - лишь бы просунуться, он ведь всегда так делал, - и входит наш бедный господин Мендель. На нем была солдатская шинель, вся в заплатах, а на голове и не поймешь что, может, когда-то это была шляпа, да валялась на помойке. Без воротничка, сам точно мертвец, лицо серое, весь седой и такой худющий - глядеть жалко.

Но он входит, будто ничего не случилось, ни о чем не спрашивает, ничего не говорит, идет прямо к столу, снимает пальто, но уж не так легко и проворно, как раньше, а трудно этак дышит. И ни одной книги он не принес с собой, как бывало прежде, а просто садится и сидит, ни слова не говоря, только смотрит перед собой совсем пустыми, потухшими глазами. Уж потом, когда мы ему принесли целый ворох бумаг, пришедших для него из Германии, он стал опять читать. Но он был уже не тот, не прежний.

Нет, он был не прежний, не был тем *Miraculum mundi* [Чудо света (лат.)], волшебным всесветным механизмом, регистрирующим книги: все видевшие его в то время с грустью это подтвердили. Казалось, что-то навеки изменилось в его обычно тихом, словно дремлющем взоре, устремленном в книгу; что-то было разрушено: видимо, страшная кровавая комета в своем бешеном беге не пощадила и скромного мирного светила его книжной вселенной. Глаза, десятки лет взиравшие на нежные, безмолвные, похожие на лапки насекомых печатные буквы, увидели, должно быть, много ужасного в обнесенном колючей проволокой человеческом загоне, ибо веки тяжело нависли над ними; некогда насмешливые, а теперь тусклые, воспаленные, они прятались за плохо связанными тонким шпагатом очками. И что хуже всего:

в совершенном здании его памяти рухнул, очевидно, один из контрфорсов, и все строение пошатнулось; ибо наш мозг, этот созданный из нежнейшего вещества механизм, этот тончайший точный прибор нашего познания, так хрупок, так сложен, что достаточно задетого сосулика, одного потревоженного нерва, переутомленной клетки, малейшего изменения какой-нибудь молекулы, чтобы нарушить высшую всеобъемлющую гармонию человеческого ума. И в памяти Менделя, в этой единственной в своем роде клавиатуре знаний, теперь, после его возвращения, западали клавиши. Если время от времени кто-нибудь приходил за справкой, он усталым взором всматривался в посетителя и не сразу понимал; он плохо слушал, забывал, о чем его спрашивают. Мендель уже не был прежним Менделем, как мир - прежним миром. Исчезла былая сосредоточенность; он больше не раскачивался, читая, а сидел неподвижно, машинально уткнувшись в книгу очками. Голова его, рассказывала фрау Споршилль, тяжело опускалась на книгу, и он засыпал среди бела дня; иногда часами глядел на непривычный свет вонючей ацетиленовой лампы, которую ставили ему на стол, - из-за нехватки угля электростанция не работала. Нет, Мендель не был уже прежним Менделем, чудом из чудес, а всего лишь никому не нужным комом бороды и платья, застрявшим на столе, некогда бывшем треножником пифии. Он уже был не красой и гордостью кафе Глюк, а его позором, грязным пятном, обузой, дурно пахнущим, всем мешающим нахлебником.

Таким считал его и новый владделец кафе, Флориан Гуртнер из Ретца, разбогатевший в голодный 1919 год на спекуляциях мукой и маслом и уговоривший добродушного Штандгартнера продать ему кафе Глюк за восемьдесят тысяч быстро обесценивающихся бумажных крон. Он взялся за дело крепкими руками крестьянина, поспешно переделал старинное почтенное кафе на более модный лад, в удачно выбранный момент приобрел за обесцененные бумажки новые кресла, отделал мрамором вход и начал переговоры о найме соседнего помещения, чтобы соорудить эстраду для оркестра. При этом спешном переустройстве ему, конечно, сильно мешал выходец из Галиции, один занимавший с раннего утра до позднего вечера целый стол и за все время выпивавший только две чашки кофе с пятью булочками. Штандгартнер, правда, обратил особое внимание нового владельца на этого завсегдатая кафе и пытался объяснить, какой замечательный человек Якоб Мендель, - он его передал, так сказать, вместе с инвентарем, как некое обязательство, лежащее на заведении. Однако Флориан Гуртнер заодно с новой мебелью и блестящей алюминиевой кассой обзавелся и крепкой совестью времен легкой наживы; он ждал только предлога, чтобы вымести этот последний остаток провинциального убожества из своего столичного кафе. Подходящий случай вскоре подвернулся, ибо Якобу Менделю жилось плохо. Его последние сбережения перемолола бумажная мельница инфляции, своих клиентов он растерял. Таскаться по лестницам, скупать и перепродавать книги было уже не по силам старому Менделю. Туго ему приходилось, об этом говорила сотня признаков. Лишь изредка посылал он за обедом в ресторан и даже небольшую сумму за кофе и хлеб оставался должен - однажды он задержал плату на три недели. Уже тогда обер-кельнер собирался его выставить, но сердобольная фрау Споршилль пожалела Менделя и поручилась за него.

А в следующем месяце разразилась катастрофа. Уже несколько раз новый обер-кельнер замечал, что при подсчете булок цифры не сходятся. Каждый раз булок оказывалось меньше, чем было заказано и оплачено. Разумеется, подозрение пало на Менделя, ибо уже не раз приходил старик посыльный и жаловался, что Мендель должен ему деньги за полгода и не платит ни одного геллера. Обер-кельнер стал зорко следить за ним, и спустя два дня ему удалось, спрятавшись за каминный экран, подглядеть, как Якоб Мендель встал со своего места, крадучись, перешел в первую комнату, быстро выхватил из корзины две булочки и начал жадно поглощать их. Расплачиваясь за кофе, он уверял, что булок не ел. Все было ясно. Кельнер сейчас же доложил о происшествии господину Гуртнеру, и тот, обрадовавшись случаю, накричал на Менделя в присутствии всех посетителей, обвинил его в краже и еще хвалился тем, что не посылает за полицией. Но он велел Менделю сейчас же убираться к черту и больше не

появляться здесь. Якоб Мендель выслушал это молча, дрожа всем телом, поднялся со своего места и ушел.

- Просто страх! - говорила фрау Споршилль, описывая его изгнание. - Никогда не забуду, как он встал, сдвинул очки на лоб, а сам бледный, как полотно. И пальто даже не надел, а на дворе январь, - вы помните, небось, какие холода стояли. И книгу свою он забыл на столе с перепугу. Я как увидела, хотела бежать за ним, но он уже вышел. Пойти за ним на улицу я не посмела, потому что в дверях стоял господин Гуртнер и так ругался, что люди останавливались. Стыд и срам! Я прямо сгорала со стыда! Никогда бы того не было при старом хозяине; господин Штандгартнер ни за что бы не выгнал человека из-за каких-то булок, у него Мендель мог бы даром кормиться до самой смерти. Но у нынешних людей нет сердца. Прогнать беднягу с места, где он просидел тридцать с лишком лет изо дня в день, это уж такой срам, такой грех! Не хотела бы я за это отвечать перед господом богом, нет, не хотела бы.

Добрая старушка разгорячилась и со свойственным старости многословием все твердила о том, какой это грех и что никогда бы господин Штандгартнер так не сделал. В конце концов я прервала ее вопросом, что же случилось с нашим Менделем и довелось ли ей еще увидеть его. Тут она встрепенулась и продолжала свой рассказ:

- Верите ли, как иду мимо его стола, так меня словно по сердцу полоснет. Все думаю, где ж он теперь, бедный господин Мендель, и если бы я только знала, где он живет, я бы снесла ему поесть чего-нибудь горячего: откуда было ему взять денег на топку и на еду? Родных у него, должно быть, никого не было. Ну, время-то идет, а о нем ни слуху ни духу, я и стала думать, что, видно, его нет уже в живых и не увижу я его больше. И даже подумываю, не надо ли отслужить панихиду по нему; ведь такой был хороший человек, и знала я его больше двадцати пяти лет.

Но вот как-то в феврале, в половине восьмого утра, я только взялась чистить медные затворы на окнах - вдруг (я думала, меня хватит удар) открывается дверь и входит Мендель. Вы ведь знаете, он всегда боком протискивался в дверь, робко этак, но уж тут - и не поймешь как. Я замечаю, что-то с ним неладно, глаза у него горят, а сам-то, господи боже мой, одни кости да борода! Гляжу я на него, вижу, он вроде не в себе, и вдруг поняла: да он ничего не чувствует, бродит среди бела дня как во сне, он все забыл - и про булки, и про господина Гуртнера, и как выгоняли, - он себя не помнит. Господина Гуртнера, слава богу, еще не было, а обер-кельнер пил кофе. Я подбежала к Менделю, хочу ему сказать, чтобы он не оставался здесь, не то этот грубиян опять выгонит его (тут она, опасливо оглянувшись, поправилась), я хотела сказать - господин Гуртнер. "Господин Мендель!" - окликнула я его. Он взглянул на меня и тут, - боже мой, если б вы видели, - тут он, должно быть, сразу все припомнил; он вздрогнул и затрясся; не только руки дрожали, он трясся весь, всем телом; повернулся и пошел прочь, а у дверей и свалился. Мы вызвали по телефону "Скорую помощь", и его увезли. Он был в лихорадке, а вечером кончился: доктор сказал, от воспаления легких, и еще он сказал, что, может, он уже был в беспамятстве, когда приходил к нам. Он пришел и сам не зная как, словно во сне. Не шутка тридцать шесть лет изо дня в день сидеть за одним и тем же столом: этот стол и был ему домом.

Мы долго еще говорили о нем, мы, последние из знавших этого странного человека; несмотря на свое микроскопически мелкое существование, он дал мне, неопытному юнцу, первое понятие о жизни, всецело замкнувшейся в духе, а для нее, бедной, задавленной тяжелым трудом уборщицы, не прочитавшей на своем веку ни одной книги, он был только товарищем по несчастью, таким же, как она, бедняком, которому она двадцать пять лет чистила пальто и пришивала пуговицы. И все же мы отлично понимали друг друга здесь, за его старым покинутым столом, сообщая вызывая в нашей памяти его облик; ибо воспоминания всегда объединяют, и вдвойне - воспоминания, проникнутые любовью. Но вдруг старушка спохватилась:

- Господи, что же это я! Книга-то, что он тогда оставил на столе, ведь она и сейчас у меня. Я же не знала, куда ему отнести ее. А после, как за ней никто не приходил, я и подумала: оставлю я

ее себе на память. Дурного в этом нет, правда? - Она торопливо вышла и принесла мне книгу. Я с трудом подавил улыбку; как охотно вечно игривая, нередко насмешливая судьба не без злости примешивает к жизненным драмам комический элемент. То был второй том "Bibliotheca Germanorum erotica et curiosa" ["Библиотека немецкой эротической и занимательной литературы" (лат.).] Гайна, хорошо известный каждому библиофилу справочник по галантной литературе. Как раз этот скабресный перечень - *habent sua fata libelli* [Книги имеют свою судьбу (лат.)] - оказался последним заветом, переданным покойным магом и волшебником в натруженные, красные, неискушенные руки, никогда, вероятно, не державшие ни одной книги, кроме молитвенника. Я плотно сжимал губы, силясь подавить невольную улыбку, и мое минутное молчание смутило честную женщину. Может быть, это что-нибудь очень дорогое, или все-таки можно оставить себе?

Я крепко пожал ей руку. - Оставьте ее себе, наш старый друг Мендель порадовался бы, если бы узнал, что среди тысяч людей, обязанных ему нужной книгой, есть хоть один, сохранивший о нем память.

Я ушел из кафе, и мне было стыдно перед этой доброй старой женщиной, которая в простоте души, но с истинной человечностью сохранила верность покойному. Ибо она, неграмотная, хоть сберегла книгу, чтобы чаще вспоминать о нем, я же годами не помнил о Менделе-букинисте, я, который должен бы знать, что книги пишутся только ради того, чтобы и за пределами своей жизни остаться близким людям и тем оградить себя от неумолимого врага всего живущего - тлена и забвения.